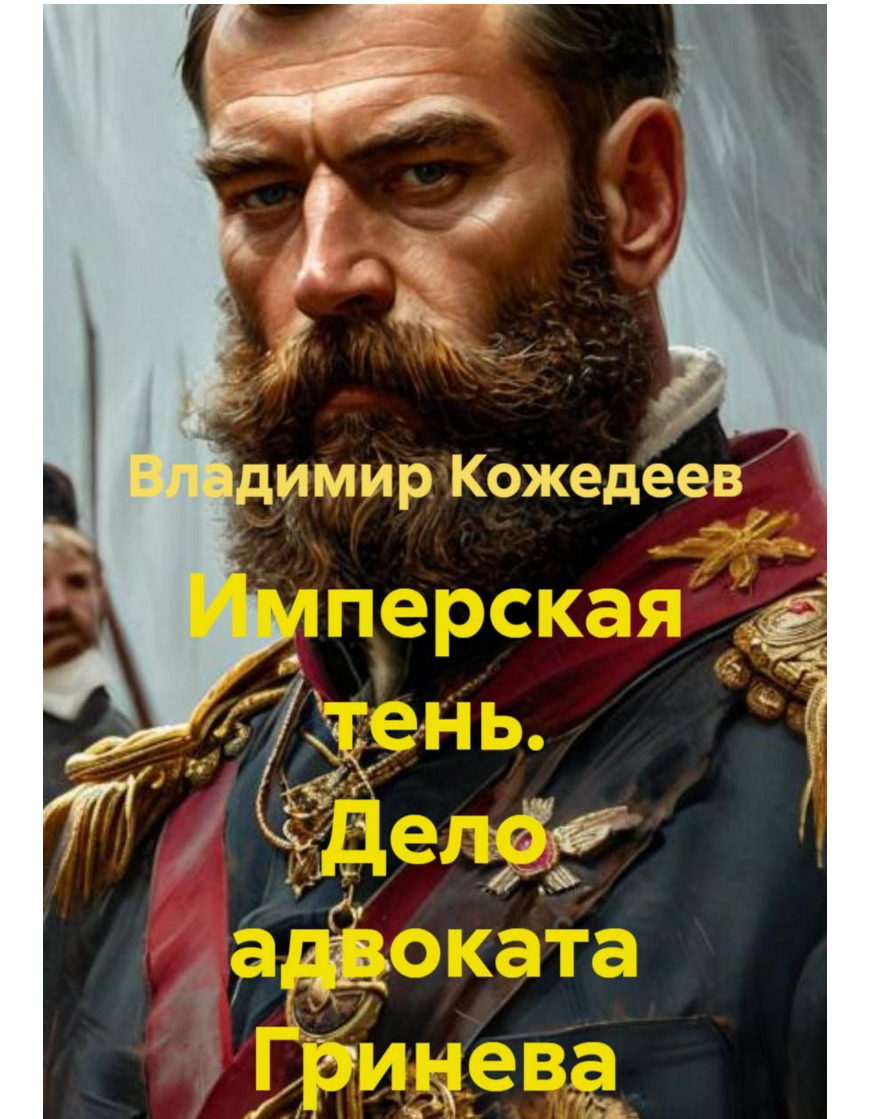


A close-up portrait of a man with a thick, dark beard and mustache, looking slightly to the left. He is wearing a dark blue military uniform with a red sash and several medals. The background is a light, textured wall.

Владимир Кожедеев

**Имперская
тень.**

**Дело
адвоката
Гринева**

Владимир Кожедеев
Имперская тень. Дело
адвоката Гринева
Серия «Исторические
детективы», книга 15

<https://litres.ru/73885669>

SelfPub; 2026

Аннотация

Петербург, 1894 год. Умирает император Александр III. На престол вступает Николай II — молодой, неопытный, окружённый льстецами и заговорщиками. В этой империи, где тени прошлого длиннее, чем будущее, частный адвокат Алексей Гринев получает письмо от школьного друга: «Погибаю. Спасай».

Шантаж, старая дуэль с выстрелом в спину, масонские логи и братская ненависть — это лишь начало. Гринев, ученик своего отца, капитана, награждённого Георгиевским крестом, умеет видеть то, чего не замечают другие. Он помнит уроки детства: «Смотри на плечи противника. Ищи неочевидное. Решай задачи, которые никто не умеет решать. Потому что кроме тебя — никто».

Следуя этой философии, он распутывает клубок лжи, выходит на след «Священной десятины» — тайного общества, готовящего

покушение на императора. В заговоре замешаны люди из самых высоких кабинетов империи. Гринев отказывается от сделки с заговорщиками, попадает под обстрел, теряет друзей, но не отступает.

Содержание

Глава 1. Пролог.	5
Глава 2. Встреча в «Контрабанде».	20
Глава 3. Воспоминания детства: Уроки капитана Гринева.	34
Глава 4. Ситуация в семье Воронцовых.	51
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Владимир Кожедеев

Имперская тень. Дело адвоката Гринева

Глава 1. Пролог.

Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, дом 137
Конец декабря 1894 года

Петербург конца века задышался в тумане, который газовые фонари превращали в жёлтую муть — словно кто-то вылил в небо огромный чан с гнилым желтком и размешал метлой. С Невы тянуло гнилой водой и сыростью, проникавшей в щели двойных рам, под платье, под воротники шинелей, под одеяла, под кожу, под самую душу. Город казался большим, дышащим на ладан организмом, который врачи уже признали безнадёжным, но продолжают пичкать микстурами из полицейских протоколов и газетных передовиц.

На стенах домов выступил чёрный налёт копоти — сажа от тысяч печей, кухонь и фабричных труб слоилась, как старый пергамент, и в сырую погоду стекала по каменным щекам зданий чёрными слезами. Извозчики бранились хрипылыми голосами, перекликаясь в тумане, как перелётные птицы, сбившиеся с курса. Газетчики в засаленных передниках

выкрикивали заголовки — и в этих выкриках слышалось уже не былое возбуждение, а усталая обречённость профессионалов, которые знают, что новости сегодня те же, что вчера, и завтра будут те же, только цифры поменяют.

Год назад, 20 октября 1893 года, в Ливадии, в своём любимом кресле, глядя на Чёрное море, умер император Александр III — Царь-Миротворец, человек, при котором Россия не воевала ни одного дня. Он умер от нефрита, как простой смертный, хотя на иконах его писали в доспехах, попирающим дракона. Теперь на престоле стоял Николай II — молодой, узкоплечий, с грустными глазами человека, который не просил этой участи. Газеты писали о «новом курсе», но в трактирах шептались: «Курс тот же, только машинист сменился, а тормозов всё нет».

В третьем этаже доходного дома купца Распопина — человека, который разбогател на казённых подрядах во время турецкой войны и теперь сдавал квартиры «чистой публике», но сам пах потом и квасом даже в бане — в маленькой квартире из двух комнат и прихожей, Алексей Гринев сидел над кипой бумаг.

Квартира была не бедной, но и не богатой. Настоящая квартира «разночинца с понятием», как называл таких сам купец Распопин, которому платили исправно, но без лишнего подобострастия.

Прихожая была тесной, как каюта. На вешалке висели: шинель поношенная, но добротная — офицерского сукна,

цилиндр с царапиной, два зонтика (один сломанный, ожидающий починки уже второй год) и охотничье ружьё в чехле — память об отце. В углу стояла трость с набалдашником из моржовой кости, которую Алексей никогда не использовал по назначению, потому что трость была полой внутри — там лежали отмычки, оставшиеся от одного знакомого взломщика, которому Гринев выиграл дело, а тот рассчитался «инструментом».

Первая комната — приёмная. Здесь ждали клиенты. Обстановка была рассчитана на то, чтобы человек успокоился, прежде чем войти в кабинет. Стены выкрашены в бледно-зелёный цвет — цвет, который, как знал Алексей из книг по психологии (Ломброзо, кстати, рекомендовал для допросных), не раздражает и не усыпляет. В углу — икона Святого Николая Чудотворца, перед которой теплилась лампада (Матрёна зажигала каждое утро, потому что «без бога — ни до порога»). Мебель простая: четыре стула красного дерева, дубовый стол, на столе — свежие газеты за три дня («Правительственный вестник», «Новое время» и почему-то «Петербургский листок» — для тех, кто хочет скандалов). На подоконнике — герань в жестяном горшке. Матрёна уверяла, что цветы «душу лечат». Алексей не спорил.

Вторая комната — кабинет. Вот здесь был настоящий мир Гринева.

Кабинет Алексея Гринева: археология одного пространства

Если бы какой-нибудь будущий историк через сто лет вскрыл этот кабинет, как археологическую культуру, он бы многое понял о человеке, который здесь жил.

Письменный стол из красного дерева достался Алексею почти даром — за десять рублей у антиквара на Литейном, который спешно распродал имущество разорившегося барона. Барон застрелился, не выдержав карточных долгов, и в его вещах пахло порохом и проигрышем. На столешнице — зелёное сукно, сплошь в чернильных пятнах, похожих на карту звёздного неба, если смотреть на неё в дурную погоду. В центре — чернильный прибор из посеребрённой бронзы: два подсвечника, песочница и чернильница с бронзовым львом, у которого отбита лапа. Лев не был антикварным — просто Матрёна однажды уронила прибор, и Алексей велел не чинить: «Настоящая вещь всегда со шрамом».

Левый ящик стола — мир каллиграфических удовольствий: перья «Эстербрук» (английские, дорогие, но он выписывал их из Риги), резинки для денег (собирал годами, использовал редко), промокательная бумага с инициалами прежнего владельца — барона, чьё имя Алексей так и не выяснил. В углу ящика — фотография отца в рамке, но в рамке было разбито стекло, и Алексей не менял его: «Так видно лучше, через трещины».

Правый ящик — архив: подшивки «Ведомостей» за пять лет, вырезки о громких преступлениях. Отдельная папка с кожаным корешком, на котором вытеснено «Вероятные» —

здесь лежали дела, которые ещё не поступили официально, но Алексей уже вёл по ним досье. Он верил в странную вещь: «Преступление начинается не в момент удара, а за полгода до него, в голове. Кто умеет читать следы в голове — тот всегда на шаг впереди».

Настенная карта Российской империи — её подарил ему Гурко после одного совместного дела. Карта была огромной, военной, с пометками красными и синими чернилами. На ней Алексей отмечал дела булавками. Красные — преступления высокого разряда, где замешаны дворяне или чиновники. Синие — места, куда нужно послать официальный запрос. Чёрные — города, где жили его враги. Зелёные — места, куда он хотел бы уехать, если бы не был так привязан к Петербургу. Зелёных было немного: Новгород, Псков, почему-то Саратов (хотя он там ни разу не был). В правом нижнем углу карты была приклеена этикетка: «Без права передачи третьим лицам. Штаб Петербургского военного округа. 1885». Алексей получил её нелегально — Гурко просто «потерял» лишний экземпляр.

Книжный шкаф занимал всю стену от пола до потолка. Двери из морёного дуба, за ними — порядка восемьсот томов. Алексей классифицировал книги не по алфавиту, а по линии жизни, как он говорил. Верхняя полка — законы: Свод законов Российской империи в пятнадцати томах, Уложения о наказаниях, Устав уголовного судопроизводства. Вторая полка — философия и психология: Спенсер, Дар-

вин (на французском), Ломброзо («Преступный человек» — с пометками Алексея на полях, где он спорил с итальянцем), Бехтерев. Третья полка — литература: Гоголь (особенно «Мёртвые души», перечитанные семь раз), Достоевский (которого Алексей не любил, но держал из уважения к силе), Шерлок Холмс в переводе (английский он знал плохо, но рассказы Конан Дойла анализировал с карандашом в руках). Четвёртая полка — то, что он называл «органика»: атлас анатомии человека, определитель следов, судебная медицина. Пятая полка — полная бессистемность: газетные вырезки о дуэлях, старые меню ресторанов (для экспертизы почерка), коллекция сургучных печатей, которые он собирал с конфискованных писем.

В самом низу, задвинутая в угол, стояла стопка французских детективных романов — Габорио, Леру. Алексей стыдился их, как тайной страсти, и прятал от клиентов, но по ночам иногда перечитывал, шепча: «Врут французы, конечно. Но как красиво врут...»

Сейф — отдельная история. Это был не просто ящик с замком, а механическое чудо, собранное по чертежам петербургского механика Густава Мейера, умершего в 1889 году при странных обстоятельствах (зарезан в собственном сарае). Сейф весил четыре пуда, был вмонтирован в стену и требовал для открытия не одного ключа, а системы: сначала набрать цифровой код (12 поворотов влево, 7 вправо, 3 влево), затем вставить ключ, который одновременно служил

рычагом, и повернуть его с усилением — так, чтобы внутри щёлкнула свинцовая прокладка. Прокладка была идеей самого Алексея: если сейф попытаются вскрыть газовой горелкой, свинец расплавится и заблокирует механизм намертво. Внутри хранились самые важные бумаги, завещание отца и револьвер «Смит-Вессон» третьего образца — подарок отца в день совершеннолетия. Револьвер ни разу не был использован, но Алексей каждое воскресенье протирал его замшевой тряпочкой.

Рабочая система была строгой. С утра, с 8 до 12, Алексей работал стоя — он считал, что сидячее положение расслабляет ум. Он ходил от карты до окна: 23 шага туда, 23 обратно. В руках — перо или карандаш. На стене — грифельная доска, на которой он писал мелом: «Цель дня», «Факты», «Версии», «Ложные следы». К полудню доска была исписана мелом до последнего дюйма, и Матрёна стирала её, когда Алексей уходил.

После обеда — приём клиентов. Тут была своя система: сперва «лёгкие» дела, чтобы войти в ритм, потом самые сложные, к концу дня — «безнадёжные», для которых Алексей делал скидку или брался бесплатно. Отец учил: «Не каждое дело должно приносить прибыль. Некоторые приносят имя. А имя дороже денег».

Вечерами — работа с документами или чтение. Алексей пил чай с лимоном из стакана в серебряном подстаканнике. Подстаканник был с гравировкой: «К. Г. — 1881» — капитан

Гринев. Тот самый.

Никакая система не была бы полной без людей, которые её обслуживают.

Матрёна Ильинична — пожилая вдова из-под Твери, 56 лет, лицо в морщинах, как печёное яблоко, глаза быстрые и цепкие, хотя она притворялась подслеповатой, когда это было выгодно. Муж её, сельский кузнец, умер от холеры в 1890 году. Детей не было. Алексей взял её за пять рублей в месяц с проживанием в кухне-каморке. Матрёна оказалась кладом: она знала всех дворников, лавочников, горничных в радиусе трёх кварталов. Её информационная сеть работала лучше сыскной полиции.

Она трижды вовремя предупреждала Алексея о приходе нежелательных гостей.

Однажды, в прошлом году, к дому подъехала карета с гербом — приехал князь Долгоруков (ещё до того, как стал заговорщиком, тогда он просто хотел нанять Алексея для тёмного дела). Матрёна увидела из окна, как кучер нервничает и то и дело оглядывается. Она вышла на лестницу, сделала вид, что подметает, и громко, в форточку, крикнула сыну дворника: «Васька, беги к околоточному! Скажи, барин велел, если карета с княжеским гербом, сразу пущать!» Князь услышал, подождал минуту и уехал. Алексей узнал об этом только на следующий день и расцеловал Матрёну в обе щеки.

Она же вела его хозяйство. Готовила щи из кислой капусты, гречневую кашу с грибами, пекла пироги с визигой на

Рождество. Спала в кухне, на железной кровати, под тремя одеялами, и всегда держала под подушкой нож — «на всякий случай». Алексей не спрашивал, какой случай она имела в виду.

Герасим — дворник дома 137, родом из калужских крестьян, 47 лет, огромный, как медведь, с бородой, в которой путались перья от кур, которых он держал в сарае. Герасим был молчалив до того, что соседи считали его немым, но с Алексеем он говорил — коротко, по делу, без лишних слов. Гринев платил ему три рубля в месяц сверх жалованья — за то, чтобы Герасим «смотрел». Смотрел на подозрительных: кто приходит, кто уходит, кто слишком долго стоит у подъезда, кто крутится во дворе с блокнотом.

Однажды в 1892 году Герасим предупредил: «Двое пришли. В штатском, но сапоги армейские. Зачем сыщику сапоги, если он сыщик? Не прячется». Алексей успел уйти через крышу, пока «гости» ломились в дверь.

С тех пор на чердаке, в пыльном углу, лежала верёвочная лестница — пятнадцать аршин пеньковой верёвки с деревянными перекладами. Алексей сам сплёл её по методу, которому учил отец: «морской узел на три русских порванных». Лестница вела на крышу, а с крыши можно было перебраться на соседний дом, где жил старик-чиновник, который никогда не запирал чердачную дверь.

Алексей сидел перед остывшей печью. Дрова прогорели, остались только угли, тлеющие красными глазами. Сквозь

окно лился жёлтый свет одинокого фонаря на набережной. Тени от ветвей платана метались по потолку, как руки утешающего.

Пальцы держали конверт. Плотный, кремовый, без обратного адреса, с водяными знаками — бумага дорогая, в Петербурге такую делают только две фабрики: «Гознак» и «Варгунин». На сургучной печати — инициалы «Д. В.» и старая дворянская корона без бриллиантов. Дмитрий Воронцов никогда не кичился родом, но печать ставил отцовскую — по привычке.

Он перечитал письмо в третий раз.

«Лёша, спасай. Не могу писать подробностей. Завтра, в «Контрабанде» на Лиговке, в шесть вечера. Погибаю. Д.»

Почерк нервный, размашистый, не такой, как раньше. В школе они писали аккуратно — отец Дмитрия, полковник Воронцов, требовал каллиграфии. Теперь буквы прыгали, нажим то слишком сильный (прорывал бумагу), то слабый (нити букв терялись). «П» в слове «погибаю» была написана с таким наклоном, будто писавший падал в левую сторону.

«Погибаю» — слово, которое пишут только тогда, когда действительно не осталось воздуха.

Алексей отложил конверт и посмотрел на стопку дел, лежащую на краю стола:

Крестьянский бунт в Саратовской губернии — три мужика подняли топоры на управляющего, который забрал их землю по подложной купчей. Дело безнадёжное: мужиков

посадят, землю не вернут. Но Алексей взялся бесплатно — потому что отец говорил: «Если не ты — то, кто?» В деле уже была составлена жалоба на имя министра юстиции, но Алексей ждал ответа.

Иск купца Петухова к железной дороге — весной этого года лошадь Петухова, рысак «Буран», провалилась в открытый канализационный люк на станции и сломала ногу. Лошадь стоила 2500 рублей. Железная дорога предлагала 300. Дело скандальное, потому что люк был неогороженный, а стрелочник напился. Алексей требовал 1500 и судебных издержек. Петухов был скупым, но любил лошадей больше жены, так что адвокатское вознаграждение обещал «по результату».

Прошение вдовы титулярного советника — 67-летняя старуха просила вернуть ей пенсию, которую отобрали после смерти мужа за «непроведение своевременного обновления документов». Формально чиновники правы, но по-человечески — свинство. Алексей написал прошение за подписью «поверенного Гринева» и отнёс в департамент лично, пользуясь старым знакомством с одним столоначальником, которому он когда-то выиграл дело о наследстве.

Всё это вдруг стало неважным.

Алексей вздохнул, потянулся к верхнему ящику, достал папку «Вероятные» и открыл её на букву «В». Там, среди вырезок и заметок, лежала старая фотография: они с Димкой Воронцовым в гимназической форме, 1885 год, сняты в

мастерской на Невском. Димка улыбается во весь рот, держит шляпу на отлёте. Алексей — серьёзный, смотрит в камеру, как на противника.

«Погибаю».

Он закрыл папку, встал, подошёл к окну. Фонарь моргал, как больной глаз. По набережной Фонтанки проехал извозчик с невидимым седоком — только тень мелькнула в тумане, и хриплый голос крикнул: «Эй, берегись!» — никому, в пустоту.

Алексей взял левую руку правой, разминая пальцы — привычка отцовской школы. «Перед боем всегда разминай кисти, чтобы удар был точным, не дерганным».

— Что ж, Димка, — сказал он в пустую комнату. — Посмотрим, кто там так умело тянет верёвку.

Он подошёл к шкафу, достал не шубу (парадную, с бобровым воротником), а старый плащ-альмавива — чёрный, с серебряной пряжкой, который отец привёз из Турции. Плащ был тяжёлым, почти свинцовым — хорошая защита от ножа в спину, к тому же под ним можно было спрятать и револьвер, и отмычки, и много чего ещё.

На прощание он погасил лампу. В кабинете остались только угли в печи — тлели, как глаза зверя.

— Матрёна, — позвал он негромко. — Завтра я уйду рано. Если кто спросит — не знаете.

— Знамо дело, барин, — ответил голос из кухни. Там тоже не спали. Матрёна всегда чуяла, когда «начинается».

Где-то в тумане ударил колокол к вечерне — слышно было глухо, будто под водой. Санкт-Петербург, декабрь 1894 года, набережная Фонтанки. Город, который никогда не спит, но всегда боится темноты.

Для читателя, который не знаком с эпохой, стоит пояснить некоторые детали, иначе атмосфера останется просто красивыми словами.

Александр III умер в Ливадии 20 октября (1 ноября) 1893 года. Это было событие, которое всколыхнуло империю не столько горем, сколько тревогой. Александр III был тяжёлым, мускулистым человеком, способным голыми руками гнуть подковы. Он правил 13 лет, и за это время Россия не воевала — за что его и прозвали Миротворцем. При нём строились железные дороги (Великий Сибирский путь, например), росла промышленность, но крестьянство всё так же жило в полуголодной нищете. Он ненавидел террор и отправил на виселицу народовольцев — тех, кто убил его отца, Александра II. Его сын, Николай II, был совсем другим: мягким, набожным, интеллигентным. Газеты писали о «новом курсе», но старые чиновники шептались, что курс этот — в пропасть, потому что молодой царь не умеет говорить «нет».

Петербург в 1894 году — это город контрастов. Невский проспект с освещёнными витринами, где продавали бриллианты и французские духи. А в двух шагах — Лиговка, трущобы, где люди спят вповалку, где дети играют с крысами, а женщины торгуют собой за 20 копеек. Доходный дом куп-

ца Распопина — это средний класс: не богатые, не бедные. Таких домов в Петербурге было больше тысячи. В них жили чиновники, присяжные поверенные, учителя, инженеры. Плата за квартиру, которую снимал Алексей — 40 рублей в месяц, что по тем временам было солидной суммой (рабочий получал от 15 до 20 рублей в месяц, а дворник от 8 до 10).

Газовые фонари в Петербурге тогда уже были почти везде в центре, но на окраинах горели керосиновые. На набережной Фонтанки — газ, жёлтый, дрожащий. Он создавал ту самую «жёлтую муть», которую описывает автор. Сырость — вечная спутница города на Неве — проникала повсюду. Недаром Достоевский говорил: «Петербург — самый фантастический город, самый угрюмый город в мире».

Извозчики — это не такси. Это отдельный мир. «Ваньки» (плохие, дешёвые) и «лихачи» (дорогие, с выездом). Те, кто бранились «хриплыми голосами», скорее всего, были «Ваньками», которые мёрзли на углах по 12 часов в сутки и пили водку, чтобы согреться. Их лошади были такими же худыми и раздражёнными, как хозяева.

Газетчики в 1894 году уже использовали кричащие заголовки — это было новым веянием. Раньше газеты были скучными. Теперь появились «Новости дня», «Петербургская газета», где на первой полосе печатали убийства, пожары и скандалы в высшем свете. Именно их выкрикивал мальчишка в переднике.

«Самодержавный курс Александра III» — это не просто

слова. После убийства отца Александр III издал манифест о незыблемости самодержавия, отказавшись даже от намёка на конституцию, которую обещал его отец. Он говорил: «Конституция? Чтобы русский царь присягал каким-то скотам?». Это был консервативный разворот, который многие поддерживали, но многие и ненавидели. Особенно либералы и революционеры. Именно в этой среде зрели заговоры, один из которых и предстоит раскрыть Алексею.

Сейчас, читатель, ты знаешь достаточно, чтобы войти в этот мир. Тени длинные, свечи короткие. Дальше — тайна, шантаж, дуэль из прошлого и заговор против самого императора. Всё это начинается здесь, в маленькой квартире на Фонтанке, где адвокат держит в руках письмо с одним словом: «Погибаю».

Глава 2. Встреча в «Контрабанде».

«Контрабанда» находилась в подвальном этаже дома купчихи Лыткиной — женщины с репутацией, которая не мылась уже лет тридцать, а сдавала помещение любому, кто платит, не задавая вопросов. Вывеска — деревянная, с выцветшей надписью и нарисованным чёрным кораблём под парусами — висела криво, на одной цепи, и скрипела при каждом порыве ветра, как виселица.

Трактир на Лиговском проспекте был местом, куда полиция заходила только по великому делу. Не потому, что там происходило что-то особенно страшное — просто каждый околоточный знал: если ты сунешь нос в «Контрабанду», то вынесешь оттуда либо нож в боку, либо такое дело, которое лучше бы не знать. Здесь собирались те, кому не было места в «Малом Ярославце» или «Доминиканском монастыре» — извозчики с тёмным прошлым, мелкие чиновники, промышленяющие доносами, солдаты-запасные, которые уже начали забывать, за что воевали на Шипке, и женщины в потёртых бархатных салопях с глазами, потерявшими всякое выражение.

С порога Алексея ударил запах. Лук, махорка, отчаяние — три кита «Контрабанды». К луку примешивалась кислая капуста, к махорке — дешёвый одеколон, которым заливали сивушный дух местные кокотки, к отчаянию — жареное

сало и мышинный помёт где-то под половицами. Воздух был густым, как кисель, и в нём можно было утонуть.

За стойкой возвышался Семён Михеич — бывший боцман торгового флота, человек с лицом, изрезанным шрамами, как старая карта плаваний. Один глаз у него был стеклянный и смотрел куда-то в сторону, но все знали: этот глаз видит то, чего другие не замечают. За сорок копеек Семён Михеич мог устроить встречу, за рубль — обеспечить тишину, за пять рублей — сделать так, что вас никто не видел и не слышал. Алексей знал его по старому делу: когда-то он вытащил Семёна из каторги, доказав, что тот не убивал грузчика, а просто дал ему пощёчину, а грузчик упал и ударился головой об угол. С тех пор Алексей в «Контрабанде» был своим. В смысле — своим настолько, что его не отравят и не ограбят. За свою безопасность в этом мире он не ручался.

Заняв дальний угол — спиной к стене, лицом к выходу — Алексей подчинялся правилу, которое вбил ему отец ещё в детстве:

«Никогда не сиди спиной к двери, сын. Ты не параноик, ты просто быстрее всех заметишь, кто войдёт. А если у тебя есть время заметить — у тебя есть время решить, что делать.»

Стена за его спиной была кирпичной, холодной, с пятнами сырости, похожими на карту неизвестной страны. Над головой висела закопчённая керосиновая лампа, которая моргала, как умирающий светлячок. На столе перед ним стоял стакан чая — жидкого, бурого, с каким-то мусором на дне.

Алексей его не пил. В «Контрабанде» чай был, скорее, обозначением того, что ты не просто так сидишь, а «потребляешь услуги».

Рядом, на соседнем столике, двое извозчиков играли в «очко» на мелкие деньги, и один, с рыжей бородой, жульничал так откровенно, что его партнёр уже расстёгивал ножны на поясе. В углу напротив, за грязной ширмой, кто-то храпел в голос — не то пьяный, не то мёртвый. Пол под ногами был липким от пролитого пива, табака и, возможно, чего-то похуже. Алексей положил правую руку в карман пальто, где лежал револьвер. Не потому, что ждал нападения, а потому, что отец учил: «В чужом месте держи оружие там, куда может дотянуться враг, но при этом не будь скован. Карман пальто лучше кобуры — ты пьёшь, ты слушаешь, ты улыбаешься, а рука уже на рукоятке.»

Дмитрий Воронцов появился через десять минут, но Алексей заметил его раньше — по шагам на лестнице, по паузе перед дверью, по тому, как лязгнула щеколда.

Дмитрий вошёл, как входят люди, которые забыли, что такое спокойный сон. Они не виделись три года — с тех пор, как Дмитрий приезжал в Петербург хлопотать по отцовскому делу о наследстве. За это время Димка изменился. Раньше он был весёлым, безалаберным, готовым смеяться над любой бедой. Теперь это был другой человек.

Дмитрий был красив той южной, неряшливой красотой — кудри нестриженные, тёмные, падали на лоб, но не кудряви-

лись весело, а висели паклей. Под глазами — синева в поллица, как у боксёра после неудачного боя. Щетина трёхдневная, но не модная, а тяжёлая, больная, словно бриться не было сил. Глаза — карие, когда-то живые, теперь — как два старых янтаря, в которых застыли мухи. Он мял в руках шляпу — не цилиндр, а мягкую фетровую, дешёвую, помятую так, будто в ней спали. Пальто было дорогим, но давно нечищенным, с пятнами на бортах — то ли от вина, то ли от слёз. Одной рукой он придерживал полы пальто, будто боялся, что из-под них вывалится что-то страшное. Другой рукой — мял шляпу.

Они посмотрели друг на друга. Алексей видел, что друг хочет улыбнуться, но не может — губы не слушаются.

— Ты похудел, — сказал Алексей, отодвигая стакан чая в сторону.

— Ты — нет, — хрипло ответил Дмитрий. — Ты всегда был... как гвоздь. Толстый гвоздь, который не гнётся.

Он сел на лавку напротив, положил шляпу на колени и вдруг стал похож на мальчика, которого выгнали из дома в холод. Семён Михеич молча поставил перед ним второй стакан чая и так же молча ушёл к стойке, хромя на левую ногу (старая травма, несовместимая с должностью боцмана, но совместимая с жизнью в «Контрабанде»).

— Рассказывай, — сказал Алексей.

Дмитрий начал путано, сбивчиво, как человек, который долго держал всё в себе, а теперь слова вываливаются комом,

натыкаются друг на друга, спотыкаются.

— Письмо... пришло три недели назад... Нет, четыре. Я не знаю. Я потерял счёт дням. Отец не спал две ночи, потом Мария Ильинична... мать... она ничего не знает, Лёша, ради бога, она не знает про дуэль, она думает, что это какая-то ошибка, шутка, но мы-то с отцом... мы знаем.

— С какого письма? — спокойно перебил Алексей. — Сначала факты. Без эмоций. Эмоции потом.

Дмитрий выдохнул, закрыл глаза на секунду, потом открыл — и стал говорить чётче, словно включил другой голос.

— Первое письмо пришло в конце ноября. В конверте — копия письма от вице-губернатора Измайлова, того самого, который помог замять дуэль. Письмо было адресовано отцу. Там были слова: «Владимир Алексеевич, дело Завадского более не будет иметь последствий, но вы помните о вашем долге передо мной. 20 тысяч на строительство женской гимназии пойдут на пользу обществу». Понимаешь? Измайлов тогда взял взятку. Но письмо — это доказательство. А внизу — рукописное примечание от Коршуна: «Полковник, это только первый лист. У меня их пять. 30 тысяч рублей и пакет, о котором вы знаете. Иначе — жандармерия.»

Алексей нахмурился.

— Какой пакет? Ты говорил о масонской ложе. Это серьёзно?

Дмитрий усмехнулся — криво, горько.

— Отец в 1875 году, когда служил в Кишинёве, был по-

свящён в ложу «Возрождение». Это смешно, да? Полковник — и вдруг масоны. Но тогда это было модно. Все офицеры играли в тайные общества. Там были ритуалы, фартуки... чепуха. Но в пакете лежали имена — кто был в ложе. А среди них — люди, которые теперь министры и сенаторы. Если это выйдет наружу, отец не просто сядет — его убьют. В переносном смысле. Затравят.

— 30 тысяч — огромные деньги, — сказал Алексей. — У вас их нет.

— Нет. Мы продали лес, имение в 250 десятин, но это копейки. Вся надежда была на урожай сахарной свёклы, но засуха... И самое страшное — Коршун знает о дуэли не из общих слов. Он знает детали.

— Какие детали?

Дмитрий посмотрел на него так, что Алексей понял: сейчас будет то, ради чего они сидят в этой дыре.

— Знает, что Завадский был убит не на дуэли. Что он пытался бежать. И что отец выстрелил ему в спину.

Тут нужно отступить на шаг и рассказать историю, которую Дмитрий поведал Алексею в тот вечер, запинаясь, бледнея, иногда закрывая лицо руками.

1881 год, май. Белгород. Загородная роща.

Владимир Алексеевич Воронцов, тогда ещё подполковник, служил в гарнизоне. Ротмистр Сергей Завадский — молодой, горячий, из обедневших поляков — был его подчинённым. Они играли в карты в собрании. Завадский проиг-

рал 500 рублей. Воронцов, который всегда выигрывал (ходили слухи — нечестно), потребовал долг немедленно.

Завадский в запале сказал: «Вы, полковник, шулер. Все это знают, но молчат, потому что боятся.»

Воронцов вызвал его на дуэль. По правилам, дуэль должна была быть с условием: стреляться с 25 шагов. Но Воронцов, который воевал в Турции и умел стрелять из любого положения, изменил условия за час до встречи: пистолеты заряжены, один выстрел, барьер — 15 шагов.

Завадский был левшой, что усложняло дело. Ночью перед дуэлью кто-то (как потом выяснилось, Пётр Воронцов) пришёл к нему в номер и посоветовал: «Не доверяйте моему брату. Он хитёр. Смотрите, как он дышит.»

На дуэли произошло чудовищное. Они вышли. Секунданты отсчитали шаги. Завадский, не дойдя до барьера двух шагов, вдруг побежал. Не назад — в сторону, в кусты, крича: «Я не хочу умирать! Дело не стоит того!»

Воронцов, по словам свидетелей, опустил пистолет, затем поднял снова и выстрелил. В спину. Завадский упал лицом в грязь.

Вот это знал Коршун.

Не просто «дуэль», а бегство и выстрел в спину. Это не дуэль, это убийство. Это каторга. Если правда всплывёт — полковник Воронцов будет опозорен, разжалован, сослан.

Дело замолчали благодаря вице-губернатору Измайлову — старому другу Воронцова, который взял 20 тысяч рублей

(откуда они у полковника — загадка) и подделал документы: «Несчастный случай на охоте». Завадского похоронили на кладбище в закрытом гробу, священнику заплатили за молчание. Вдова Завадского получила пенсiон по высочайшему повелению — якобы «за храбрость мужа», умершего от ран.

— Теперь понимаешь? — сказал Дмитрий, и голос его дрожал. — Это не просто шантаж. Это смертный приговор, если Коршун выполнит угрозу.

Алексей слушал, не перебивая, и машинально набрасывал на бумажной салфетке схему. Он всегда так делал — чертил связи, имена, стрелки, знаки вопроса. Отец учил его: «Пока не перенесёшь на бумагу — не уложишь в голове. Рука умнее мозга, когда дело о связях.»

На салфетке появилось:

Коршун (кто?)

(знает о дуэли)

Дуэль 1881

(знали 15 человек)

Список:

Воронцов В.А.

Измайлов (вице-губ., умер 1889)

Секунданты (оба умерли: один в запое 1884, другой — под поездом 1890)

Врач (умер 1892)

Священник (жив? последний раз видели в 1891)

Пётр Воронцов (жив, пьёт, ненавидит брата)

ещё 8 человек (все мертвы/выехали за границу)

— Кто мог знать? — спросил Алексей строго, как на допросе.

Дмитрий перечислил. Когда он назвал всех, Алексей присвистнул.

— Десятка полтора человек — и все, кроме одного, мертвы? Слишком аккуратно, Димка.

— Что ты хочешь сказать?

— Что либо Коршун — кто-то из этих «мертвых», либо он получает информацию от того, кто остался. Священник? Возможно, но он старик, ему шантаж не нужен. Пётр?

Дмитрий сжал кулаки.

— Дядя Петя. Пётр Воронцов. Он живёт во флигеле нашего имения под Белгородом. Пьёт, играет в карты, проиграл всё. Жена ушла к купцу в Екатеринослав, детей нет. Он каждый день ходит к отцу и просит денег, а отец даёт — из жалости. Но при этом... он ненавидит отца лютой ненавистью. Говорит, что отец украл его невесту 30 лет назад.

Тут Дмитрий рассказал историю, от которой даже бывалый Алексей поёжился.

1864 год. Кишинёв. Молодой поручик Воронцов (Пётр) был влюблён в дочь отставного генерала — Елизавету Бахметеву, красавицу с голубыми глазами и приданым в 50 тысяч десятин. Они были обручены. Но старший брат, Владимир, в то время уже штабс-капитан, тоже положил глаз на Лизу. Однажды на балу он шепнул ей: «Петя — игрок и мот.

Он проиграет всё ваше приданое за три года. А я — честный военный, Георгиевский кавалер. Выбирайте.»

Лиза выбрала Владимира. Пётр был уничтожен. Он закатил скандал — на весь полк, с криками «Ты украл мою жизнь!», с попыткой стреляться с братом прямо в буфете офицерского собрания. Владимир тогда просто дал ему пощёчину и вышел вон.

Пётр запил. Он проиграл всё, что имел, и начал стремительно падать по социальной лестнице. Его исключили из полка «за поведение, несовместимое с офицерским званием» — то есть за пьянство и дебоши. Потом была неудачная женитьба (жена сбежала с купцом), потом — жизнь в дешёвых номерах, потом — унижительное возвращение в имение брата, который сжалился и пустил его жить во флигель.

— И этот человек, — закончил Дмитрий, — теперь сидит в 30 верстах от нас, пьёт дешёвое вино и хочет, чтобы брат сгнил в тюрьме.

Алексей попросил показать письмо. Дмитрий достал из внутреннего кармана пальто сложенный вчетверо лист плотной бумаги.

Алексей развернул его — и почуял запах дешёвого табака и ещё чего-то кислого, возможно, уксуса. Бумага была хорошей, верже, с водяными знаками фабрики «Варгунин». Почерк — каллиграфический, но с нажимом, который выдавал злобу. Буквы были наклонены вправо слишком сильно, словно писавший наклонялся над столом с угрозой.

Он прочитал вслух, тихо, чтобы не слышали соседи:

«Ваше превосходительство, Владимир Алексеевич. Позвольте напомнить вам об одном тёплом майском дне 1881 года в Загородной роще. Тогда вы забыли законы офицерской чести. Я же ничего не забыл. В моём распоряжении находятся письма Измайлова, показания свидетелей (живых) и копия рапорта, переписанного вашим же денщиком, который, к сожалению для вас, не умер, а живёт в Харькове и помнит всё. Требую: 30 000 рублей золотом или ассигнациями по курсу. Передача — через два этапа, места сообщу дополнительно. Второе: пакет, который вы храните в зелёном сейфе. Знаю, что он там. Не думайте сжечь — у меня есть второй экземпляр. Молчание — залог вашей свободы. Ваш должник, который больше не хочет ждать. Коршун.»

— Зелёный сейф? — спросил Алексей.

— У отца есть старый сейф зелёного цвета — ещё от деда. Там лежат семейные бумаги, письма, документы об имении. Но отец клянётся, что никакого «пакета» там нет. Коршун либо ошибается, либо... либо знает что-то, чего не знаем мы.

Алексей задумался. Он смотрел на салфетку, потом на письмо, потом на Дмитрия.

— Димка, — сказал он наконец. — Твой дядя Пётр пьёт. Он не сможет написать такое письмо — слишком грамотно, слишком выверенно. У него рука дрожит, буквы прыгают. А здесь — твёрдая рука и юридический склад ума. Это писал либо профессионал, либо кто-то, кто очень долго готовился.

— Значит, не дядя?

— Не один. Но он — источник информации. Даже если он не Коршун — он сливает. Кто ещё из живых знает все эти детали? Священник? Вряд ли. Секундант из тех, кто «под поезд»? Поезд — это удобный способ замести следы, кстати.

Дмитрий побледнел.

— Ты думаешь, Коршун убивал свидетелей?

— Я не думаю. Я вижу схему. За 13 лет умерли почти все, кто знал правду. Это не совпадение. Это чистка.

В этот момент свеча на столе мигнула, и тени пробежали по лицу Алексея, делая его похожим на старую гравюру — угрюмого рыцаря, который знает, что идёт на верную смерть, но идёт.

— Вот тебе и верёвочка, — сказал Алексей, откладывая письмо. — Но верёвочка ведёт в Белгород. Завтра еду.

— Лёша, там опасно. Дядя Пётр — зверь, когда пьян. У него есть подельники. Местный урядник у него в кармане.

— Тем лучше. Значит, — отец учил: если враг предсказуем — ты уже выиграл.

Он помолчал, потом спросил тихо:

— Ты веришь, что отец не убивал Завадского в спину? Или всё-таки...

Дмитрий опустил глаза. Долго молчал. Потом глухо проговорил:

— Я не знаю. Мне отец поклялся на иконе, что Завадский споткнулся, когда побежал, и пуля вошла в бок, но... свиде-

тели говорят о спине. Я хочу верить отцу. Но я адвокатского сына, Лёша. Я знаю, что люди лгут даже на иконах, если от этого зависит их жизнь.

Алексей кивнул.

— Хорошо. Будем исходить из того, что правда где-то посередине. Но сначала — найти Коршуна и заткнуть ему рот. А потом — разберёмся с правдой.

Он встал, бросил на стол трёшницу (вдвое больше, чем стоил чай и помещение), кивнул Семёну Михеичу. Тот, в ответ, чуть заметно поднял свой стеклянный глаз — жест, означавший «доброго пути, барин».

На улице их встретил холод. Лиговка спала тяжёлым, пьяным сном. Где-то вдали выла собака, и этот вой смешивался со свистом ветра в телефонных проводах (тогда уже были телефоны, но только у богатых).

Алексей закурил папиросу — редкость, он обычно не курил, но нервы требовали табака.

— Димка, — сказал он, выпуская клуб дыма в жёлтый свет фонаря. — Держись. Мы вытащим твоего отца. Но будет грязно. Очень грязно.

— Знаю, — ответил Дмитрий. — Для того я и поехал в эту дыру. Для грязи.

Они пожали друг другу руки — крепко, по-мужски, без лишних слов. Разошлись в разные стороны: Дмитрий — на извозчика, в гостиницу «Лондон», Алексей — пешком, набережной, чтобы проветрить голову.

Фонтанка текла чёрная, как чернила. По воде плыли льдины, и в них отражались звёзды — мутные, ненадёжные, как всё в этом городе.

Лиговский проспект в 1894 году был границей между приличным Петербургом и трущобами. Дома здесь были низкими, грязными, с выбитыми окнами. Трактиры славились тем, что там можно было найти «всё» — от воровского пригона до явочной квартиры революционеров. «Контрабанда» — имя вымышленное, но типичное для таких заведений: немного угрозы, немного тайны, немного надежды, что сегодня ты не умрёшь.

Дуэли в 1881 году уже были строжайше запрещены. Указом 1894 года (чуть позже описываемых событий) дуэли были почти легализованы, но только для офицеров, и то — под судом. В 1881 году дуэль была уголовным преступлением. Поэтому дело Завадского заметали в том числе и потому, что сам факт дуэли грозил полковнику разжалованием, даже если бы он не убил соперника.

Масонские ложи в России после запрета 1822 года существовали полуподпольно, особенно в Кишинёве и Одессе, где близость к загранице позволяла сохранять традиции. В 1875 году, когда Воронцов вступил в ложу, это было скорее развлечением для офицеров, чем политической деятельностью. Но после убийства Александра II (1881) отношение к масонам стало более подозрительным. К 1894 году любой официозный намёк на масонство — это конец карьеры.

Глава 3. Воспоминания детства: Уроки капитана Гринева.

Поезд, уносивший Алексея из Петербурга в Белгород, мерно стучал колёсами, и в этом стуке — ритмичном, усыпляющем — вдруг проступил другой звук. Звук тринадцатилетней давности. Стук колёс телеги по просёлку. Скрежет дверной петли в старом доме. Шорох осенних листьев под ногами. И голос отца — хрипловатый, спокойный, не терпящий возражений:

«Смотри, сын. Смотри не глазами — смотри головой. Глаза обманут. Голова — никогда, если её научить.»

Алексей закрыл глаза, и вагон третьего класса с пьяным купцом и индюком в клетке исчез. Осталась только осень 1882 года.

Воронежская губерния, сто вёрст от губернского города, деревня Малые Кулики — место, которое на картах обозначалось крошечным кружком без названия, а в атласах — и вовсе отсутствовало. Сюда вела одна дорога — просёлочная, раскисающая осенью так, что лошади тонули по брюхо, а мужики матерились на чём свет стоит. Имение капитана Гринева было небогатым — сто десятин земли, из которых пашни — сорок, остальное — лес да болота. Дом — старый, ещё от деда, бревенчатый, с мезонином и покосившимся крыльцом.

Когда-то, до отмены крепостного права, здесь было двадцать душ. Теперь осталось пять дворов — бывшие крепостные, перешедшие в разряд «арендаторов», которые обрабатывали землю за половину урожая. Жили бедно, но без злобы — капитан Гринев был строг, но справедлив. В голодный 1881 год, когда по Воронежской губернии прокатился неурожай, он продал свои серебряные ложки (единственное, что осталось от матери) и купил ржи для мужиков. Об этом помнили, но вслух не говорили — чтобы не сглазить.

Сам капитан жил в доме один с сыном. Прислуга — одна-единственная Терентьевна (кто помнил её полное имя — уже умерли), старуха семидесяти лет, которая готовила, убирала и выполняла роль няньки при Алексее, хотя её больше интересовали собственные ревматизмы и разговоры с иконами.

Отец не искал жену после смерти матери. Говорили по-разному. Одни — что он так любил покойную, что не смог никого поставить рядом. Другие — что он дал зарок Богу, когда она умирала в родах: «Если сохранишь сына — не женюсь вовек». Третьи — что просто не хотел. Капитан Гринев был человеком, который не нуждался в оправданиях. Он делал — и молчал.

Дом капитана Гринева состоял из четырёх комнат — и все они носили отпечаток жизни без хозяйки.

Первая комната — «зала» (так называли гостиную по старинке). Большая, холодная, с двумя окнами, выходящими на

сад. Мебель: диван с продранной обивкой, на котором когда-то спал пёс Артаман (теперь покойный), дубовый стол на толстых ногах, этажерка с книгами — единственное богатство капитана. На стенах — портреты: Александр II (Царь-Освободитель, убитый в 1881 году, когда Алексею было всего семь), генералы, с которыми отец служил, и одна-единственная фотография женщины в кружевной наколке — матери. Алексей смотрел на неё часто, но не помнил. Глаза на фотографии были добрыми, но чужими.

Вторая комната — спальня отца. Аскетизм, доходящий до жестокости. Железная кровать, соломенный тюфяк, грубое одеяло. На стене — оружие: шашка (настоящая, кавказской стали, с рукоятью из моржовой кости), два охотничьих ружья, револьвер «Смит-Вессон» — тот самый, что потом перейдёт к Алексею. В углу — аналой с Евангелием. Капитан был верующим, но не показным. Крестился перед едой и сном, в церковь ходил раз в месяц — когда служба не мешала делам.

Третья комната — кабинет отца. Вот здесь была настоящая святая святых. Пахло кожей, табаком и старыми картами. На столе — подзорная труба (трофейная, турецкая), глобус (подаренный полковым священником, который учил географии «для развития кругозора»), и стопка писем — от однопольчан, от родственников, от каких-то таинственных людей с чернильными именами. Отец не прятал письма, но и не показывал. «Когда вырастешь — прочитаешь, что останется.

Пока — не твоего ума дела.»

Четвёртая комната — Алексея. Маленькая, с одним окном, выходящим на конюшню. Кровать, стол, чернильница, книги. И на стене — карта звёздного неба, которую отец нарисовал ему углём на обоях, когда Алексею было пять. «Вот, сын. Это Большая Медведица. Если заблудишься ночью — ищи её. Она всегда на месте. Даже когда тучи.» Тучи были часто, но Алексей всё равно искал.

Сад при имении был запущенным — заросли сирени, старые яблони, которые никто не прививал, терновник, цепляющийся за полы. Но в этом запустении была своя красота. Отец и сын гуляли здесь каждый вечер — не для удовольствия, а для «наблюдения». Капитан учил мальчика замечать следы: где пробежал заяц, где прошла лиса, где ветка сломана не ветром, а человеком. Однажды, когда Алексею было восемь, он нашёл в саду странное углубление в земле.

— Папа, здесь кто-то копал.

Капитан подошёл, посмотрел, крикнул.

— А кто? И зачем?

— Не знаю. Но следы свежие.

Они раскопали — оказалось, старый погреб, заваленный ещё при крепостном праве. Внутри — гнилые доски, и ни горшка с золотом. Но отец был доволен.

— Молодец. Заметил. Большинство прошло бы мимо. А ты нет. Это главный талант — видеть то, чего другие не видят.

Главная школа проходила в старом сарае, который капитан переделал в тренировочный зал. Сарай стоял в конце сада, у самого леса. Внутри — пол из утрамбованной земли, по которому когда-то ходили лошади. Теперь здесь были чучела — соломенные, одетые в старые мундиры, с нашитыми мишенями на груди. В углу — мешки с песком для укрепления рук. На стенах — странные рисунки, сделанные углём: схемы движения, траектории ударов, и самое загадочное — карты местности с пометками чёрными и красными крестами.

Алексей позже узнал, что это были схемы боёв, в которых участвовал отец. Каждый крест — позиция, каждая линия — движение роты, каждый кружок — место, где упали свои.

Капитан Гринев стоял в центре этого сарая, как бог войны в своём храме. В потёртом кителе без погон, с неизменной папиросой в зубах (хотя курить в сарае было запрещено — сено, но он курил). Пальцы его — толстые, с расплюсченными фалангами — помнили и шрапнель, и штык, и рукоять шашки. Он мог двумя пальцами раздавить грецкий орех. А мог так же нежно погладить сына по голове — после того, как тот впервые сделал правильно сложный захват.

Осень 1882 года. Алексею восемь лет. Они стоят на середине сарая. На улице — слякоть, ветер срывает пожелтевшие листья с берёз, и они шуршат по крыше, как шёпот заговорщиков.

Капитан Гринев снимает китель, остаётся в одной рубашке — толстой, холщовой, под которой угадывается мощная

спина, перечёркнутая шрамами. Один шрам — от турецкой сабли (под Плевной), другой — от штыка (в Кокандском походе). Отец не говорил о них, но и не прятал.

— Ты думаешь, что враг ударит кулаком? — спрашивает он, становясь вполоборота. — Нет. Кулак — это самое последнее, что он сделает. Сначала он подумает. Потом он решит. Потом его плечи скажут тебе всё, что нужно.

Отец делает медленный выпад. Алексей следит.

— Вот смотри. Я хочу ударить правой рукой. Что происходит?

— Левое плечо идёт назад, — робко отвечает Алексей.

— Именно. Левое плечо — противовес. Нельзя выбросить правую руку вперёд, не отведя назад левую. Это закон физики. А физика не врёт. Запомни: человек не может начать движение с кулака. Он всегда начинает с плеча. Смотри на плечи — и ты увидишь удар за секунду до того, как он произойдёт.

— А если он ударит левой?

— Тогда правое плечо идёт вперёд, левое — назад. Зеркально. Но это редкость — люди чаще бьют той рукой, которая сильнее. Большинство — правши. А левша — это отдельная песня.

Отец хлопает его по спине, почти больно.

— А теперь давай. Встань напротив меня. Я буду делать замахи, ты — называть, какой рукой я ударю.

Они стоят друг напротив друга. Капитан делает быстрые,

резкие движения — вполсилы, но с той скоростью, которая заставляет восьмилетнего мальчика напрягать все нервы. Алексей учится ловить не кулак — плечо. И постепенно, после десятка ошибок, у него начинает получаться.

— Правая! — кричит он.

Отец убирает руку, улыбается краем губ.

— Хорошо. А теперь — второй уровень. Не только называть, но и уходить с линии удара. Если он бьёт правой — ты уходишь влево. Если левой — вправо. И смотри, чтобы твои собственные плечи не выдали тебя.

Они тренируются до потёмок. У Алексея болят ноги, он хочет есть, но терпит. Потому что капитан Гринев сказал перед началом:

«Сегодня ты не ребёнок. Сегодня ты солдат. А солдат не ныть.»

На следующее утро — урок на природе. Дождь кончился, небо прояснилось. Отец берёт Алексея за руку и ведёт в лес.

— Сегодня — «карта местности» База. Знаешь, что такое база?

— Место, где прячутся?

— Нет. База — это место, откуда ты контролируешь всё вокруг. У хорошего начальника всегда есть база. У плохого — нет. База должна быть в голове, даже если нет в реальности.

Они останавливаются на высоком холме, откуда видна деревня, поле, лес, и просёлочная дорога, уходящая к горизон-

ту.

— Смотри, — говорит капитан. — Видишь овраг за ольховником?

— Вижу.

— Там можно спрятать роту солдат, и никто не заметит. Видишь старый дуб у дороги?

— Вижу.

— Если взобраться на него, видно на три версты во все стороны. Место для наблюдателя — идеальное. Видишь болото справа?

— Вижу.

— Туда никто не пойдёт. А значит, если нужно пройти тайно — иди через болото, если знаешь тропу. А тропу знаю я.

Отец учит его читать местность не как крестьянин, а как военный: рельеф, точки доминирования, пути отхода, места для засады. Это не топография — это шахматы живых пространств.

— Запомни, — говорит отец, когда они возвращаются домой. — Плохой начальник лезет туда, где его ждут. Хороший — идёт там, где его не ждут. Умный — делает так, что противник сам лезет туда, где ты его ждёшь.

Алексей слушает, кивает, но до конца не понимает. Понимание придёт через семнадцать лет, когда он будет сидеть в засаде на Петра Воронцова и рассчитывать каждое движение.

В 1883 году, когда Алексею было девять, в жизни Гриневых произошёл случай, который стал для мальчика практическим приложением отцовских уроков.

Сосед, помещик Аполлон Ефремович Пузиков, человек грубый, богатый (300 десятин, винокуренный завод) и скандальный, заспорил с капитаном о меже. Пузиков утверждал, что гриневский лес на две десятины заходит на его землю, и требовал либо вернуть землю, либо заплатить 500 рублей.

Капитан спорить не любил. Он достал старые межевые планы, поговорил с мужиками, которые помнили границы ещё по крепостному праву, и понял: Пузиков врёт. Но доказать это официально — муторно и дорого. Пузиков, пользуясь связями в уездном суде (его племянник служил там секретарём), инициировал иск.

Отец не пошёл по обычному пути. Он нанёс визит Пузикову не с жалобой — с предложением.

— Аполлон Ефремович, — сказал он, сидя в гостиной соседа и попивая чай (Пузиков подсыпал дешёвую заварку, показывая пренебрежение). — Вы человек умный. Давайте решим дело миром. Я уступаю вам спорную землю. Но вы отказываетесь от иска.

Пузиков, который ожидал борьбы, растерялся.

— И всё? — спросил он.

— И всё. Но я уступлю её не вам лично, а крестьянам вашего имения — в аренду на 20 лет. С условием, что они будут платить мне по 10 рублей в год.

Пузиков не понял подвоха и согласился. А через год выяснилось: крестьяне, получившие землю от Гринева, перестали слушаться Пузикова, потому что теперь у них был свой хозяин. Пузиков попытался вернуть землю — но договор был оформлен юридически грамотно (отец возил бумаги в губернию, к знакомому юристу). Иск рухнул. Капитан не только сохранил лес, но и приобрёл верных людей среди крестьян.

Вечером, когда дело было закрыто, отец сказал Алексею: — Видишь? Я не бил его кулаком. Я просто дал ему то, что он хотел. Но так, что это обернулось против него. В жизни, сын, не всегда побеждает тот, кто сильнее. Чаще побеждает тот, кто хитрее. Но не подло — нет. Подлость всегда наказуема. А хитрость — искусство.

Зимой, когда морозы запирали их в доме, занятия продолжались у печи. Капитан садился в своё кресло (продранное, с торчащей паклей), закуривал папиросу и задавал задачи.

— У тебя три ведра. Одно полное воды. Два пустых — на 3 и на 5 четвертей. Как отмерить ровно четыре четверти?

Алексей морщит лоб. Отец ждёт. В печи потрескивают дрова. Где-то за стеной Терентьевна перебирает крупу.

— Налить в ведро на 5 из полного. Перелить в ведро на 3. Останется 2 в ведре на 5. Вылить из ведра на 3 в полное. Перелить 2 из ведра на 5 в ведро на 3. Налить полное в ведро на 5. Перелить в ведро на 3, где уже есть 2 — получится 4.

Отец улыбается редко, но здесь уголки его губ поднимаются.

— Решил. Но ты решил потому, что никто не мешал. А если бы я стоял сзади и держал у твоего виска револьвер? Или если бы умирала твоя сестра?

— У меня нет сестры.

— Представь, что есть. В жизни, Алексей, будут минуты, когда от одного твоего решения будет зависеть чья-то жизнь. И никто, кроме тебя, не сможет его принять. Потому что других, кто понял бы задачу так же глубоко, просто нет.

Отец замолкает, смотрит в огонь.

— Я учу тебя одному — уметь мыслить в пустоте. Когда всё против тебя. Когда страшно. Когда хочется плакать и бежать. Ты сядешь и подумаешь: «Как решить эту задачу, если все пути закрыты?» И тогда откроется тот путь, которого не видел никто. Потому что кроме тебя — никто не искал.

Мальчик не отвечает. Он запоминает.

Один из самых важных уроков отец рассказал ему не как задачу, а как историю. Это было летом, после дождя, когда они сидели под старой яблоней и ели яблоки — кислые, с червоточинами, но свои.

— Ты знаешь про моего Георгия? — спросил отец.

— Знаю, что дали под Плевной.

— Мало знать где. Надо знать как.

Отец рассказывал сухо, без пафоса. 1877 год, битва под Плевной. Рота, в которой служил капитан Гринев, попала в окружение. Командир убит. Знамя полка упало, и турки уже тянули к нему руки. Если знамя будет потеряно — полк рас-

пустят, офицеров разжалуют. Гринев, тогда ещё поручик, не раздумывал (он сказал «не раздумывал», но Алексей почувствовал, что врал — раздумывал, секунду, но раздумывал). Он выскочил под пули, схватил знамя, прополз по грязи, за заднюю линию. Пуля пробила ему руку (потом рука гноилась два месяца), граната осколком полоснула по спине (тот самый шрам). Знамя спасено.

— За это мне дали Георгия, — закончил отец. — Но я получил его не за геройство. Геройство — это минута. Я получил его за то, что за секунду до того, как выскочить, я сообщил: никто, кроме меня, этого не сделает. Остальные офицеры были убиты или ранены. Солдаты растерялись. Если бы я не решился, знамя бы пропало. И никто бы не пришёл и не сказал: «А, давайте подумаем, как по-другому». Времени не было. Нужно было делать.

— А если бы ты погиб?

— Это другой вопрос. Но я не погиб. Значит, решение было правильным.

Отец потрепал его по волосам.

— Запомни, Лёша. Самое трудное в жизни — не победить врага. Самое трудное — взять ответственность за победу. Потому что, если ты взял, а не вышло — виноват ты. И никто иной. Многие этого боятся. Ты не бойся. Бойся, что кто-то другой возьмёт решение за тебя и примет неправильно. Вот тогда будет поздно.

Капитан Гринев не был добрым. Он был требовательным

— и эта требовательность иногда выливалась в ссоры.

Алексей помнил зиму 1884 года. Он учил латынь — в гимназии потом требовали, а отец нанимал учителя из уездного города. Алексей не мог выучить спряжения, писал шпаргалки на манжетах. Учитель пожаловался капитану.

Отец вошёл в комнату Алексея без стука — и нашёл шпаргалки.

— Это что? — спросил он тихо. Тише, чем обычно, и это было страшнее крика.

— Я не могу запомнить, папа. Там куча правил, они путаются. Я их потом выучу, честное слово.

— Потом? Когда на кону будет жизнь? Экзамен — это не жизнь. Но привычка врать — это уже жизнь. Ты врал учителю, врал мне, врал самому себе. Запомни, Алексей: никогда не решай задачу воровским способом. Иначе привыкнешь. А привыкнешь — в настоящей задаче растеряешься. Потому что воровские способы не работают в чистом поле, когда против тебя настоящий враг.

Отец разорвал шпаргалки в клочья и ушёл. Три дня они почти не разговаривали — только по делу: «Есть», «Принеси», «Ступай». Алексей ходил сам не свой. На четвёртый день он выучил латынь — всего два часа корпел, и оказалось, что не так уж и сложно. Пришёл к отцу в кабинет, сел на пол у его ног (как в детстве).

— Я выучил, папа.

— Я знал, что выучишь. Я не сомневался. Я ждал, когда

ты сам поймёшь, что можешь.

Вот такой был капитан Гринев. Суровый, но справедливый. Не прощавший лени — но не наказывавший жестоко. Наказывал одним: молчанием. Для Алексея, который любил отца больше жизни, это было страшнее ремня.

Однажды — Алексею было одиннадцать — он нашёл в кабинете отца фотографию, которую раньше не видел. Молодая женщина в светлом платье, с букетом полевых цветов. На обороте — надпись готическим шрифтом: «Е. Н. Гринева, 1869, Висбаден».

— Это мама? — спросил он отца за ужином.

Капитан долго молчал. Потом ответил:

— Да. Она.

— Почему она в Висбадене? Ты рассказывал, что вы жили в Воронеже.

— Висбаден был до меня. До вашей свадьбы? Она ездила туда с отцом, генералом. Лечилась от... неважно. Дай сюда.

Он забрал фотографию и больше никогда её не показывал. Алексей не настаивал. Но запомнил: в жизни отца — а значит, и в его жизни — были тайны, которые не раскрываются за ужином.

Позже, через много лет, он поймёт: мать не просто «умерла в родах». Она умерла от разрыва сердца. Врачи говорили о «слабости миокарда», но в семейных бумагах, которые Алексей найдёт после смерти отца, будет письмо военного врача: «Грузность супруга вашего на последних сроках при-

вела к осложнениям. Виноваты не вы, но и не Бог. Не ищите виноватых». Капитан Гринев винил себя. И потому воспитывал Алексея с такой жестокой нежностью — будто хотел доказать умершей, что их сын достоин.

1886 год. Алексею двенадцать. Через год его повезут в Воронеж, в гимназию. Жизнь в Малых Куликах закончится. Прощальная осень — самая яркая в памяти. Леса горят золотом и багрянцем. Небо чистое, звонкое, как колокол.

Они стоят в сарае в последний раз. Отец уже старше — пальцы болят от старой шрапнели, он морщится, когда делает захват. Но голос всё так же твёрд.

— Запомни главное, сын, — говорит он, глядя мимо Алексея, куда-то в даль стены с рисунками углём. — Я научил тебя видеть, думать, решать. Но есть одна вещь, которую научить нельзя. Её нужно найти в себе самому.

— Что, папа?

— Смелость не бояться ошибиться. Я могу дать тебе все инструменты. Но пользоваться ими будешь ты. И если ты ошибёшься — не вини меня. И не вини себя. Встань и иди дальше. Потому что задача не решится, пока ты лежишь на земле и плачешь.

Он положил руку на плечо мальчика — тяжелую, шершавую, пахнущую табаком и порохом.

— Береги себя. И помни: есть вещи, которые кроме тебя никто не решит. Но это не значит, что ты должен решать всё один. Иногда — позови друга. Иногда — отступи. Но нико-

гда не сдавайся.

Отец повернулся и вышел из сарая, оставив Алексея одного среди соломенных чучел в старых мундирах.

Мальчик постоял, потом подошёл к стене и положил ладонь на рисунок углём — на карту того поля, где отец сражался и выжил.

«Я не подведу», — сказал он тихо, но никто не услышал.

Капитан Гринев умер через семь лет, в 1893 году, за год до событий этой книги. Алексей приехал хоронить — и нашёл в кабинете отца, на столе, запечатанный конверт с надписью: «Сыну. Вскрыть после моей смерти».

Внутри было всего несколько строк:

«Лёша. Ты всё знаешь, чему я учил. Остальное — твоё. Не ищи правды в чужих словах. Ищи её в делах. Если будет трудно — вспомни сарай. Я всегда с тобой. Отец.»

Поезд дёрнулся, и Алексей открыл глаза. Вагон третьего класса, купец с индюком, стук колёс. Но теперь все эти детали обрели новую глубину.

Он провёл рукой по лицу — и почувствовал, что щёки мокрые. Слезы? Странно. Он не плакал с одиннадцати лет.

«Вот, папа, — подумал он, глядя в запотевшее окно, за которым проплывали заснеженные поля Воронежской губернии. — Еду решать задачу. Не чужую. Димкину. А значит, мою. Ты говорил: «Кроме нас никто не решит». Вот я и еду. Не подведи только память.»

Он достал из кармана отцовский компас — старый, мед-

ный, с выцветшим циферблатом — и щёлкнул крышкой. Стрелка дрогнула и указала на юг.

Туда, где шантаж, ложь, убийство из-за угла и тайна, которой тринадцать лет.

Туда, где ждал Пётр Воронцов — человек с горящими глазами и револьвером в кармане дырявого пальто.

Алексей закрыл компас, убрал в карман и улыбнулся — жёстко, по-гриневски.

— Ну что ж, дядя Петя, — сказал он вслух, не обращая внимания на удивлённого купца. — Посмотрим, кто из нас лучше помнит уроки сарая.

Глава 4. Ситуация в семье Воронцовых.

Поезд Москва–Курск–Белгород, декабрь 1894 года. Двадцать четыре часа пути в третьем классе — это не путешествие, а испытание на прочность. Вагон трясёт на стыках, в щели дует ледяной ветер, а из тамбура тянет угольной пылью и кислым запахом овчинных тулупов. Напротив Алексея — пьяный купец в поддёвке, который уже третий час рассказывает соседу про конокрадов в Орловской губернии, тыкая корявым пальцем в воздух. Индюк в плетёной клетке, стоящий на полу между ног, время от времени издаёт гортанные звуки, будто комментирует речь купца. За мутным окном, покрытым инеем, проплывают поля — бескрайние, заснеженные, с редкими чёрными деревьями, похожими на стада уснувших зверей.

Алексей не спит. Он прокручивает в голове сведения, наспех собранные перед отъездом. Воронцовы... старая дворянская фамилия, записанная в VI часть родословной книги Курской губернии. Владимир Алексеевич — человек с боевым прошлым, но теперь забытый, живущий в усадьбе, которая, по слухам, приносит одни убытки. Дмитрий — единственный сын, пытался служить, но вышел в отставку после какой-то истории, о которой никто не говорит. И есть

ещё брат, Пётр — тень дома, разжалованный, пьющий, злой. Именно туда едет Алексей. К тени.

Он достаёт отцовский компас, щёлкает крышкой, смотрит на дрожащую стрелку. Юго-запад. Белгород. Место, где начинали карьеру его отец и полковник Воронцов — в одном полку, в одно время. Может быть, капитан Гринев знал больше, чем говорил? Об этом Алексей подумает позже. Сейчас — только факты.

Имение Воронцовых называлось «Ясная Поляна» — без иронии, так назвал его ещё дед нынешнего владельца, выигравший эти земли в карты у какого-то промотавшегося князя. С толстовской усадьбой оно не имело ничего общего, кроме имени. Расположенное в тридцати верстах от Белгорода, на низком берегу реки Корени, имение представляло собой печальное зрелище.

Главный дом — большое двухэтажное строение в стиле ампир, с шестью колоннами по фасаду, построенное ещё в 1820-х годах. Когда-то штукатурка была розовой, колонны — белыми, а крыльцо украшали чугунные львы. Теперь штукатурка осыпалась «лицом», обнажая серый, плесневелый кирпич. Колонны покрылись трещинами, в которых гнездились воробьи. Один из львов был продан на металлолом ещё в 1870-х — на дрова. Второй стоял с отбитой головой, похожий на памятник павшей эпохе.

Парк, когда-то славившийся липовыми аллеями, был вырублен почти подчистую — липы ушли на дрова и на почин-

ку обваливающих крыш. Остались только старые дубы у пруда, которые не решились срубить, потому что под ними, по легенде, была закопана убитая нянька, и дубы «помнили грех». Крестьяне обходили это место стороной.

Флигель, где жил Пётр Воронцов, стоял отдельно, в глубине парка, у самого оврага. Это было маленькое, вросшее в землю строение, с низкой дверью и окнами, почти не пропускавшими света. Весной флигель подтапливало, и вода поднималась до половины стен, оставляя на кирпиче грязные разводы, похожие на пальцы утопленника.

Внутри главного дома было темно и холодно. Печи топили экономно — дрова стоили дорого, а имение приносило доход меньше, чем требовалось на поддержание жизни. На первом этаже, в парадных комнатах, воздух был сырым и пахло мышами.

Гостиная. Высокий потолок с лепниной, от которой отвалились куски, обнажая дранку. Мебель в чехлах — потому что чехлы легче стирать, чем чистить бархат. Рояль «Беккер», купленный когда-то для дочерей, но теперь молчащий — на нём играла только Екатерина, да и то по праздникам. На стенах — портреты предков: суровые лица с бакенбардами и орденами. У одного, прадеда, с мундира кто-то содрал золотое шитьё — неизвестно, когда и зачем. Но глаз прадед не сводил с вошедших, и это было неприятно.

Кабинет Владимира Алексеевича. Здесь, в отличие от остального дома, царил порядок — военный, жесткий, по-

чти педантичный. Письменный стол из карельской берёзы, заваленный бумагами, но каждая бумага знала своё место. Ружья на стене — заряжены (полковник доверял только себе). Портрет государя императора Александра III — тот самый, в доспехах, попирающий дракона. На отдельном столике — макет Шипкинского перевала, сделанный из пробки и раскрашенный охрой. Полковник Воронцов рассказывал внукам (когда они приезжали на лето), как держали оборону. Но внуки не приезжали уже два года.

В углу — тот самый зелёный сейф, о котором говорил Дмитрий. Старый, немецкий, с выцветшей краской и замком, который открывался поворотом ручки на три оборота. Сейф стоял здесь, по словам отца, ещё с 1850-х годов. Внутри — семейные бумаги, несколько золотых монет на чёрный день и тот самый «пакет», о котором твердил Коршун. Пакет, которого, по словам полковника, не существовало. Но почему тогда шантажист так уверен в обратном?

Столовая. Длинный дубовый стол на двенадцать приборов — теперь за ним собиралось трое-четверо. Над столом висела люстра с подвесками, многие из которых были заменены на стеклянные бутылочные пробки (экономия). В углу — киот с тёмными иконами, перед которыми Мария Ильинична ставила свечи каждое утро. Она же, неслышная, как тень, появлялась тут к завтраку, обеду и ужину.

Владимир Алексеевич Воронцов был стар. Не дряхл — стар. Разница тонкая, но её чувствовали все, кто входил в

его присутствие. Ему было шестьдесят восемь лет, но выглядел он на все семьдесят пять. Подагра — проклятие всех старых военных — искривила пальцы ног и руки, превратив когда-то могучие кисти в узловатые корни. Он ходил с тростью — но не опираясь, а так, для равновесия. Спина оставалась прямой, даже когда боль в суставах становилась невыносимой.

«Взгляд ястреб» — это не метафора. Когда Владимир Алексеевич смотрел на кого-то, создавалось впечатление, что он видит не только лицо, но и затылок, и что там, за затылком, происходит. Этот взгляд не раз спасал его на войне — достаточно было взглянуть на турка в десяти шагах, и тот, говорят, опускал ружьё. Не от страха — от странного чувства, что этот русский офицер уже знает, куда попадёт пуля, за секунду до выстрела.

Но теперь этот взгляд потускнел. Не от старости — от позора.

«Он знает, что шантажист прав, и это его убивает не столько угрозой, сколько позором» — так сказал Дмитрий, и это была чистая правда. Полковник Воронцов мог вынести какому-нибудь торговцу. Он мог вынести смерть. Но он не мог вынести, что люди узнают: он выстрелил в спину. Не на войне — на дуэли, в мирное время, в человека, который не успел даже выстрелить.

Каждую ночь он не спал. Сидел в кабинете, перебирал бумаги, пил чай с коньяком (коньяк — дешёвый, молдавский,

но это лучше, чем ничего). Он думал: если бы можно было повернуть время назад — выстрелил бы он? И не находил ответа. Потому что в тот момент, в мае 1881 года, когда Завадский побежал в кусты, в Воронцове заговорило нечто, что он не мог контролировать: оскорблённая гордость, страх разоблачения (шантаж начался уже тогда — Завадский угрожал рассказать, что Воронцов шулер) и — да, да — трусость. Он испугался, что Завадский выживет и расскажет всем правду о карточной игре. И нажал на курок.

Теперь он платил. И плата была выше, чем он мог представить.

Мария Ильинична Воронцова была женщиной, которую в молодости называли «статусной женой», а теперь — «тенью». Ей было пятьдесят два года, но она выглядела на все шестьдесят — в деревне, без должного ухода, люди стареют быстрее. Тихая, религиозная, с постоянно сложенными на груди руками и лёгкой сутулостью, она носила траур по кому-то — то ли по молодости, то ли по надеждам, то ли по дочери, которая умерла во младенчестве.

Каждый день, в любую погоду, она ходила к обедне в село Раздольное. Три версты пешком — по разбитой дороге, через мост над ручьём, мимо старого кладбища, где уже никто не хоронил. В церкви она становилась в уголке, зажигала свечи, слушала батюшку и выходила первой, чтобы никто не подошёл с расспросами. Дома она не говорила ни о политике, ни об имении, ни о делах мужа. Её мир сузился до икон,

кухни и редких писем от родственников, которых она тоже избегала.

«Она не знает о дуэли» — Дмитрий поклялся в этом. И клялся правду, потому что, если бы Мария Ильинична узнала, что её муж — убийца, её тихая вера рассыпалась бы в прах. Она не вынесла бы этого. Лучше молчать. Молчать и ходить в церковь. Молчать и ставить свечи. Молчать и не спрашивать, почему муж не спит по ночам, почему сын стал таким нервным, почему в доме часто бывает полицейский урядник, который пьёт чай и смотрит недобро.

Однажды, за год до описываемых событий, она поймала взгляд Дмитрия — странный, виноватый — и спросила: «Дима, что-то случилось?» Тот ответил: «Ничего, мама. Всё хорошо». Она кивнула и сделала вид, что поверила. Но с тех пор к иконам добавилась ещё одна — Богородица Всех Скорбящих Радости. И свечи перед ней горели дольше всех.

Екатерина Воронцова, Катя, была младшей в семье — восемнадцать лет, высокая, тонкая, с каштановыми волосами, которые она распускала по плечам (к вящему негодованию матери, считавшей, что девице надлежит укладывать косу короной). Она была красива той нервной, беспокойной красотой, которая появляется у девушек, когда они слишком долго сидят в четырёх стенах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.